

---

---

## НА ГРАНИ ВЕКОВ

---

---

С. В. ПРОЖОГИНА

### «ЖИВУЩИЕ НА ОКРАИНАХ»: СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗГОИ ИЛИ «ЗАБЫТЫЕ» ГРАЖДАНЕ?

*О том, что такое «иммигрантские зоны» во Франции, написано немало и политологами, и социологами, исследующими процессы интеграции североафриканцев во Франции. Профессиональному писателю – этническому алжирцу Мунси удалось воссоздать яркую картину географического, социального и психологического отчуждения людей, покинувших родные земли в поисках лучшей доли, но обретших на чужбине лишь острое ощущение заброшенности, забытости, изгойства, территориальной и культурной маргинальности, несмотря на свои попытки укоренения в обществе, когда-то предоставившем мусульманским эмигрантам возможность надежды на новую жизнь.*

***Ключевые слова:** мусульманская иммиграция во Франции, «зональный» ландшафт, маргинальность бытия, социальная «забытость», интеграционные трудности, дезинтеграция поколений, ассимиляционные притязания.*

В больших городах сегодняшней Европы повсюду (Испания, Франция, Италия, Германия, Англия, Дания и т. д.) есть кварталы, где основное население – эмигранты, вновь прибывшие или давно осевшие здесь выходцы из этих слоев, представители второго и даже третьего поколения людей, перебравшихся когда-то на Запад из Северной Африки (а в последние десятилетия XX в. и из Тропической) и из Восточной Европы, из Азии и Турции. Иммигранты в Европе – народ вообще особый, но из мусульманских стран – еще и ставший «проблемным», особенно с начала XXI столетия.

*История и современность, № 2, сентябрь 2011 150–178*

В Париже, где я имела возможность не только наблюдать, но и изучать «иммигрантское присутствие» с начала 1990-х гг. по настоящее время (см., например: Прожогина 2001; 2003; 2008 и мн. др.), эти кварталы чрезвычайно заметны: для тех, кто помнит Францию в еще не столь далеких 1960-х гг., удивительно видеть Монмартр почти «не французским», как и весь XVIII округ, большую часть XIX и XIV, а уж о знаменитых когда-то своим «пролетарским духом» некогда «красных» пригородах и предместьях французской столицы и говорить не приходится: сейчас они почти сплошь иммигрантские, и звучит здесь в основном арабская речь...

Но Париж со своими магрибинскими, вьетнамскими, китайскими (и даже старинным, еще со времен революции и гражданской войны образовавшимся «русским», в XVI округе, в Пасси) кварталами, окраинами и предместьями – не исключение. Почти такая же картина во всех больших, а сегодня и малых, городах Франции (Италия и Испания тоже заметно «преобразовались» в последние 20 лет...): в Лионе, Марселе, Нантерре и др. Этот **«иммигрантский пейзаж»** заметно изменил не только социальную географию страны, но очевидно влияет на формирование ее современной культуры, ее повседневное бытие, заставляя **разных** людей, представителей различных этносов и конфессий (не близких изначально католической Франции) жить на **одной** земле. «Принимающее» эмигрантов общество (а процесс продолжается, и глобализация – не всегда основная причина миграции, особенно для алжирцев, тунисцев, да и марокканцев) достаточно широко открывает свои двери и по сей день для тех, кто попадает в страну законно, имея шансы на трудоустройство или какие-то «семейные опоры» среди тех родственников, кто приехал в страну раньше и способен как-то поддерживать вновь прибывающих... Статистика – официальная – утверждает, что сегодня только магрибинцев во Франции около 5 миллионов (конечно, не считая нелегалов). Это немало. И возможно даже, что новое население страны жизненно необходимо и для ее экономики, и для ее демографического роста. Однако **«иммигрантский пейзаж»** заметно изменил и **социальную психологию** как самих французов (коренных), так и новых граждан страны, особенно этнических арабов или берберов (родители которых – корен-

ные североафриканцы), родившихся здесь или с раннего детства живущих во Франции. Изменения эти чаще **негативного** свойства: здесь и вспышки взаимного неуважения и даже ненависти, откровенно шовинистические (и даже расистские) настроения правых партий и их сторонников, их угрозы в сторону иммигрантов, и ответные реакции иммигрантской молодежи, поджигавшей автомобили, бьющей витрины, устраивавшей взрывы в метро и пр. Факты известны, о них почти каждую осень сообщает пресса, умалчивающая часто и о весенних «выбросах» иммигрантского недовольства, когда значительные массы подростков из окраинных школ оказываются на улице, исключенные за неуспеваемость и пополняющие ряды маргинальной молодежи. (Детям иммигрантов приходится во французских школах нелегко, ведь дома у них говорят на родных языках...)

Причин и для откровенной конфликтности, и для имплицитного внутреннего противостояния в обществе достаточно: они и **исторического** свойства (здесь и колониализм с его политикой аккультурации аборигенов, и длительная Алжирская война за независимость, и другие национально-освободительные движения, лишившие Францию ее «заморских территорий»), и **экономического** (Франция давно уже, еще с начала XX в., использует труд эмигрантов в своей промышленности, во многом зависит от него и сегодня, однако, как свидетельствуют многочисленные источники, относится при этом к ним как к «людям второго сорта»), и **социального**: именно для эмигрантской (и иммигрантской) среды во Франции особо долго было характерным почти полное отсутствие социального лифта, который не просто способствовал бы позитивной социализации «не-французов», но и их реальной интеграции во французский социум, – а именно эту цель и преследует официально внутренняя политика страны. Но факты все еще (и все настойчивее) свидетельствуют о сбоях в этой политике и трещинах в главной идеологической парадигме республики, впервые провозгласившей еще в XVIII в. основами своего существования «Свободу, Равенство и Братство»...

Но у Республики есть и другие принципы, которые не позволяют ей вполне толерантно относиться к тем, кто упорно сохраняет

свою культурную «непохожесть», кто настойчиво воспроизводит свои различия (особенно конфессионального плана) в постоянных попытках отказа от уважения правил и законов светского государства, каким является Франция. И она никогда (с момента свершения своей революции 1789 г.) не признавала никакой степени «самоопределения» ни культурных, ни религиозных, ни этнических *меньшинств* (или их «коммунитарных», общинных образований). Тем более сегодня. Республика требует от своих граждан **единства в нации**, всеобщего соблюдения ее основного закона (Конституции), по которому **все религии абсолютно отделены** от государства и **все ее граждане** прежде всего – **французы** (а не католики, протестанты, православные, иудеи и уж тем более мусульмане...). И ее нынешнее «многообразие» (по определению французских социологов, *diversité*) – и культурное, и конфессиональное – лишь специфика совокупности объективно сложившихся причин и обстоятельств, но ни в коем случае **не условие независимого, раздельного и равноправного** сосуществования привнесенных в страну (не исконных ее, «корневых») религий и культур. Особо болезненным является, конечно, исламский фактор. Доминантность «истинно» французской цивилизации очевидна и в принципах получаемого детьми иммигрантов школьного образования, и в обязательности соблюдения правил общественной жизни титульной нации и владения ее языком (французским) при поступлении в высшие и средние учебные заведения и на работу.

Требования **«быть французом» во Франции**, наверное, логичны, да и обоснованы самой историей страны, ее непререкаемым культурным достоянием, ее политическим гостеприимством, в конце концов. Однако как **«быть (или как «остаться») арабом» во Франции?** Как жить французским (или ставшим «французами») мусульманам? (Азиатскими иммигрантами здесь как-то менее озабочены: видимо, они быстрее ассимилируются.) Нужно ли и можно ли говорить о сохранении огромным количеством этих граждан своей идентичности? **В каких условиях** в конечном счете живет «внутри себя» все это новое «разнообразное человечество» Франции, призванное государством жить в **единстве**?

Один из примеров (многочисленных уже сегодня) того, как формируется социальная психология людей, «отброшенных» обществом за пределы своего «осевого» мироустройства, своего цивилизационного «изначала» как Центра этого мира, – в книгах франкоязычного писателя, «французского араба» (а такого рода литература представлена сегодня уже значительным количеством имен), взявшего себе псевдоним Мунси, где отражен (в арабском корне данного слова) этот некий смысл «забытости» (или «заброшенности») самими французами своих же сограждан, **живущих рядом, но не вместе** с ними.

Сегодня знать причины сожалений, недовольства, или же, напротив, надежд *другой стороны*, живущей на той же земле, даже ставшей родной (ибо повествование Мунси, как и всех «бёров» – иммигрантов «второго поколения», – идет от лица тех, кто родился или вырос во Франции), бесполезно. Возможно даже, что нарисованная Мунси картина жизни во многом прояснит и случившееся совсем недавно признание президента Франции (после подобных же заявлений лидеров и Германии, и Англии) о *крахе мультикультурализма*. Европа, видимо, не только упорствует в «самосохранении», в «спасении» своей цивилизации от ислама, но и извлекает уроки от провалов своей политики в отношении иммигрантов, **«интеграция»** которых происходит одновременно с сохранением (подспудно или явно) и той **дистанции**, где извечная оппозиция *свой/чужой* остается незыблемой даже в стране «Свободы, Равенства и Братства». Но прислушаемся к голосу писателя, заметив при этом, что литература (даже документальная) не дает рецептов спасения общества, но умеет показать его боль. Знать о ней бесполезно.

### **ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ<sup>1</sup>**

В пространстве жизни – от берегов Средиземного моря, откуда мы родом, до городских окраин, тех, что лежат за пределами территории, предназначенной не нам, иммигрантам, кому отведены

---

<sup>1</sup> Фрагменты книги: Mounsi 1995. (В названии книги «Территория, лежащая за пределами города» обыгрывается номинация бывших французских колоний и зависимых стран: «territoires d'outre mer» – «заморские территории».)

обочины больших городов Франции, – я попытался собрать воедино и склеить осколки моей памяти.

Я не хочу никого ни утешать, ни огорчать, я просто хочу рассказать о том, что видел и что пережил.

### **Второе поколение**

Наш Нил – это Сена. Пирамиды – многоэтажки окраин.  
Древний Египет – кварталы бедняцких предместий;  
Где возрождаются Рамзесы II,  
Но не фараоны. А дети  
Североафриканских изгоев.  
Те, которых сегодня называют «вторым поколением»...  
Поколением асфальтовых сфинксов,  
Поколением бетонных джунглей...

То, что важнее всего сказать, вслух не выскажешь. Разве что молчаливо признаешься. И молчание это доверишь чистому листу. И только тогда, когда напишешь страницу, увидишь, имеет ли смысл высказанное...

Меня сейчас одолевают воспоминания, перед глазами встают давно забытые картины жизни. И надо окунуться в слова, в предложения, чтобы выйти из забвения, чтобы очнуться. И чем больше вчитываешься в слова, тем дальше относят они твою память в глубь времени. И чем больше заедают тебя тоска и одиночество, тем чаще я уношусь на волнах памяти, исчезаю из настоящего, отстраняюсь от самого себя, испытываю нечто подобное головокружению или медленному затягиванию в бездну зыбучими песками...

И тем не менее я обретаю вновь прошедшее время, навсегда утраченные дни, чтобы понять, что значит для меня мое прошлое, моя История, та История, которая превратила меня в сына эмигранта, в действующее лицо и свидетеля современности... Но мое прошлое порой трудно дешифруется, не легче, чем иные археологические находки...

Я хотел бы, чтобы меня прочитали. Но не потому, что я хочу чему-то научить своего читателя. Но просто поведать ему о моем жизненном опыте, об опыте определенного существования в спе-

циально отведенном месте жизни, о путешествии сквозь жизнь человека *Чужого*...

Если все упростить, то мою личную историю легко подытожить. Я родился в Кабилии, в алжирском горном крае, когда еще над моей страной развевался французский сине-бело-красный флаг. На самой высокой вершине – Джурджуре. Меня воспитала бабушка, а в возрасте семи лет меня отправили во Францию, где жил и работал отец. Помню, что испугался огромного скопления людей в городе.

Сменить декорации кабийской деревушки на пролетарские городские окраины было нелегко. И я чувствовал себя потерявшимся, беспомощным, вконец осиротевшим. Я и так уже был сиротой, не знавшим райского блаженства детства, не видевшим родного материнского лица...

И мне всегда казалось, что одиночество и сиротство – мой удел. Другие называют это судьбой...

Неужели кому-то разрешено сказать себе совсем простые слова: «Это – я»? Просто ощутить себя самим собой? И, наверное, только самым лучшим, самым свободным можно сказать: «Я существую». Это ведь так много...

Мне же было суждено преобразовать в слова все мои жизненные катастрофы и неудачи. И я теперь пишу, как иные создают фильм, монтируя воедино разные отснятые на пленку эпизоды, добавляют какие-то фрагменты. А я иду мыслью по городу, в который попал, прокладывая себе дорогу через сонм воспоминаний, брожу переулками в поисках своей жизни...

Иммиграция соединяет разные поколения узами прошлого... Наши отцы никогда не повышали голоса, не кричали, не объяснялись ни с кем, не выясняли отношений. Они все молча сносили. Но это их молчание в конечном счете вылилось в крик их детей. Мы заставили себя услышать. Хотя французское общество никогда не давало права голоса иммигрантам. Обрекало их на немое послушание. Хотело превратить человека в существо, лишённое всяких импульсов какой бы то ни было критики, возможностей судить о чем-то, что-то отбрасывать или отвергать. В существо неразумное, способное только на бессознательное уважение законов, на

рабскую покорность им. Наши отцы считались людьми неграмотными, необразованными, а потому молчание приличествовало им. Однако с их детьми, рожденными или выросшими уже на французской земле, надо было обходиться по-другому. Ведь они не молчали. Но их голоса, хотя и были услышаны, были как бы переведены на другой язык. Как в плохих субтитрах к фильму, в котором говорят на чужом языке: слова ничего общего не имеют с теми, которые произносят действующие лица. Они словно звучат в двух совершенно разных, несовпадающих, несинхронных временах. В этом своего рода нашем «дубляже», который является производным французского общества, мы, как и другие чужаки, иностранцы, плохо «переведены», чтобы никто не мог нас понять. В таких «субтитрах» мы сами на себя не похожи. В них нет правды.

Потому что в этом обществе не имеют права на нее. Потому что здесь нельзя говорить бог знает о чем в неподобающем месте, невесть с кем, неизвестно когда. На все есть свой строго установленный порядок вещей, определенные иерархические ритуалы. И только строгое подчинение им, только абсолютно правильное их исполнение и соблюдение способно обеспечить чужакам «вид на жительство» или право гражданства. Здесь не разрешено – ни в прессе, ни на телевидении, ни по радио – высказываться на тему (или прямо заявлять) о том, что вас дискриминируют, потому что вы – *другой*. Интеграция предполагает, что вы заранее со всем согласны. Что признаете все, что существует, что вас все устраивает, что вы разделяете со всеми общепризнанные здесь ценности жизни. Франция как бы заставляет всякого иностранца любоваться самой собой, видеть в глазах других только свое прекрасное отражение и наслаждаться им. В такой «нарциссической» интеграции таится какой-то страх. Отсюда – все те запреты, препятствия, «пороги толерантности» и границы, «которые нельзя переходить», обрушенные на головы нашего непокорного и немолчащего поколения с целью его «укрощения». Все происходит так, словно общество хочет стереть следы самого его присутствия в этом мире, следы его внезапно ворвавшейся в этот мир мысли, его языка...

Как будто здесь забыли о том, что правильно понятая речь *другого* – залог высшего равенства...

Но если мне бросают слова, я подхватываю их и посылаю обратно. Я понимаю других и в других понимаю себя. И то, как они понимают меня. И в окружающих меня молодых людях вижу примеры из моей собственной биографии.

Моя жизнь началась на замусоренном пустыре на окраине – там, где кончается город. Где останавливается его жизнь. Поэтому мы чувствовали себя изгнанными из общества, доводя до крайностей это свое ощущение: ломали, грабили, били витрины, употребляли наркотики, воровали все, что могли. Газетные хроники без устали сообщали об этом. Прежде чем начать писать, я сам тридцать лет жил в реальной «хронике событий». И моя жизнь за пределами города была столь же извилистой, как течение Сены. Хотя и она текла за пределами территории нашего существования. И для меня история моей жизни «запредельна»: мой мир по другую сторону жизни общества. Но река воспоминаний проложила свое русло во мне, и ее воды глухо журчат в моей душе.

Из глубин бездны ее я черпаю различные факты, картины жизни. Вот они снова встают передо мной, – приводят меня на берег Сены: разбитые в кровь лица, выбитые зубы, улицы, заваленные ранеными и трупами. Вой полицейских сирен. В воде плавают утопшие. Париж залит огнями, в свете фонарей и окон прекрасно видны все участники тех событий... Это – 17 октября 1961 г. Алжирский Фронт национального освобождения вывел людей на демонстрацию. Слышу, как кричат полицейские друг другу: «Сколько “крыс” удалось убить?» Демонстрантам надо было дойти до Триумфальной арки. Она служила символом Победы. Но полиция перекрыла все подходы к ней, и люди скопились на площадях возле вокзалов, в центре города. Столкновения были повсюду. Сотни убитых среди алжирцев. Сена выбрасывала трупы на набережные. В памяти моей они всплывают до сих пор. И я отчетливо слышу крики людей, гудки машин скорой помощи, вижу, как санитары несут раненых на носилках... Демонстранты теснятся, отступают, дают возможность проехать машинам скорой помощи. Помню все эти древние жесты людского отчаяния, горя, выражение лиц. Помню, как серые воды Сены текли, смешанные с кровью... Но люди шли тесными рядами. В них стреляли, их ранили, их подбирали, но

они все шли... Им было приказано выступить в защиту сражавшегося Алжира... Многие звали на помощь, а многим уже не хватало и дыхания кричать... Убитых вылавливали из реки, подбирали на бережных, завертывали в газеты... Они остались безымянными. Никто не помнит их лиц. Они мумифицировались в пыли архивных документов. Их забыли. Так лучше сохранить тайну.

Алжирская война была предметом скрытой цензуры. Вежливой формой информационного умалчивания. Кинематографистам не удалось ее запечатлеть, а литературе описать. Конечно, и в эти времена нашлись люди, достойные уважения. Немало граждан – и французских, и бельгийских – внесли свою лепту в дело освобождения алжирского народа и помогали ему в борьбе за независимость, отстаивая идеалы гуманизма. От Луизы Мишель – соратницы Эль-Мокрани<sup>2</sup> – до Анри Аллега<sup>3</sup>... Немало их умерло под пытками, а сколько было заключено в тюрьмы за отказ сражаться против алжирцев! Те из них, кто сегодня остались в живых и помнят об этом времени, говорят о своей роли и о своей помощи алжирскому народу как о само собой разумеющемся деле, ибо они стояли на антирасистских позициях, имели антиколониалистские убеждения. А сколько было тогда оказано всякой помощи со стороны гражданского населения Франции по укрытию тех, кто дезертировал из армии, не желая воевать с Алжиром, сколько партизан нашли убежище, сколько было сделано для алжирских повстанцев пропусков и документов, чтобы облегчить им переход через границы; сколько честных адвокатов защищало тех, кого судили...

А ведь уже 12 ноября 1954 г. (восстание началось 1 ноября. – С. П.) премьер-министр Франции объявил по радио, что «Алжир – это Франция», и никто не потерпит никаких внутренних беспорядков... Министр внутренних дел вторил ему, говоря, что Франция

---

<sup>2</sup> Еще в 1871 г. под предводительством Эль-Мокрани более 120 000 повстанцев-кабиллов заставили содрогнуться колониальную Францию. Ее армия подавила это мощное восстание, и его вожди были отправлены в ссылку в Новую Каледонию, где они разделяют трагическую судьбу побежденных французских коммунаров.

<sup>3</sup> Анри Аллег, будучи главным редактором газеты французских и алжирских коммунистов «Альже Републикэн», в годы Алжирской войны (1954–1962) вел активную пропаганду за предоставление Алжиру независимости, был схвачен французскими властями и жестоко пытаем во время допроса (пояснение наше. – С. П.).

вся – от Фландрии до Конго – будет подчиняться единому закону. Что у нее будет единая нация, единый парламент, единая конституция и единая воля...

Недаром ведь еще в 1846 г. французский маршал Бюжо, выступая в Алжире, сказал: «Эта земля нам дарована Богом! Здесь даже урожаи можно собирать по два раза в год!.. Здесь свободно могут заниматься земледелием три миллиона человек...» Маршал, знакомый с крестьянским трудом, забыл только о том, куда он денет людей, уже живших на этой земле...

Я не говорю о том, сколько молодых французов погибло в войне 1954–1962 гг., которую называли просто «операцией по поддержанию порядка». Табу и до сих пор тяготеет над историей этой Войны... Это было время моего детства. А что может думать о войне ребенок, увидевший бомбардировщики, вертолеты, кружившие над деревней, пулеметные ленты, которые тащили на себе военные, солдат, униформы, каски, кинжалы за поясом людей в камуфляжах, сверкавшие в лучах жаркого кабийского солнца?.. О жестокости этой войны многое умалчивают, «чтобы не беречь старые раны». Но что-то стыдное таится в глубинах коллективной памяти французов... И что-то такое, чего я не осознавал в детстве, но что составляет мою сущность, связывая меня глубинно с моим народом, с его движением, стало проявляться именно тогда, когда я попал во Францию.

В Париже, в октябре 1961 г., я открыл для себя страницу Истории. Для этого надо было окунуться в нее мне, мальчишке, соприкоснуться с ней. А разрушить в себе ребенка очень трудно. Почти так же трудно, как и родить его... Я увидел Францию жестокую, пылающую ненавистью. Время войны многое расставило по старым местам, и политики снова велели солдатам расстреливать мирных людей и вбивать гвозди в ладони распинаемых пророков... А «демократы» (и их «левые») молчали. Недаром они сегодня так снисходительны к иммигрантам, ощущая свою историческую вину. Совесть у многих нечиста, хотя забвение в этой стране, кажется, является национальным долгом. Но кому хочется вспоминать об облавах, о гильотине, о расстрелах демонстрантов, о пытках электрошоком, о всей той «грязной работе», которую пришлось выпол-

нять оккупантам по укрощению повстанцев? Французы считали себя жертвами, а не палачами. И войну свою называли «умиротворением» алжирцев, говорили не о «военных действиях», а о «событиях» в Алжире, никогда не упоминая о том, что там гибнут тысячи людей... Пытки были официально разрешены под названием «умеренное психологическое давление»...

Вот почему я вспоминаю день 17 октября 1961 г.: я впервые увидел работу машины ненависти и убийства... Еще и сегодня, в 1995 г., когда я пишу эту книгу, я смотрю на предательства политиков глазами того мальчишки, который впервые в жизни столкнулся с массовым расстрелом людей, с морем крови. Хотя опытом осознания истории я уже умудрен.

17 октября 1992 г. мы собрались на набережной Жаммап в Париже. Многочисленная молодежь, пришедшая сюда, бросала красные гвоздики в канал Сен-Мартен. В память о погибших в Алжирской войне. Эта память жива среди молодых иммигрантов. Но она не упорядочена. Сегодняшние подростки, бушующие здесь, напоминают, конечно, о прежних волнениях алжирцев и о том, к чему они могут привести. Но когда их бунт подавляют, то делают это вдвойне жестоко, чтобы одно историческое сопротивление не влекло за собой другое...

Мир моего детства словно распался на фрагменты, и мне порой трудно собрать их воедино, чтобы родилась верная картина жизни и что-то важное не исчезло из нее. Но одно я могу сказать точно, как бы вызываяще это ни прозвучало: должен признаться, что я так и не интегрировался в окружающий меня сегодня пейзаж, скорее я до сих пор пытаюсь акклиматизироваться здесь... Я долго ощущал себя здесь птицей, выкинутой из гнезда чьим-то проклятием и долго еще летающей вокруг этого гнезда, совершенно пустого. И долго еще глядящей на него. Так и я много раз в своих снах возвращался в родную Кабилию в поисках осколков моего детства. Но там, где я родился, лежали лишь груды костей. Я собирал их и относил к себе домой, в бидонвиль на окраину Нантерра. Складывал их там в своем бараке, сооруженном из досок и покрытом волнистым толем, на котором поверх, чтобы крыша не улетела, лежали две старые автомобильные шины...

Эти бараки, стоявшие в грязи, где я жил, составляли единое целое с окружающим их пейзажем. Я закрываю глаза и вижу бабушку, которая уже умерла, но я ясно вижу ее, такую маленькую, морщинистую, словно не разжатая до конца ладонь, хрупкую, согбенную всеми выпавшими на ее долю унижениями, деликатную, скромную, но полную энергии. Открываю глаза и не вижу ее. Закрываю снова и ищу дорогу, по которой иду среди руин. Я не брожу, и даже не знаю, что ищу. Иду, чтобы найти место, где лежат мертвые. Для каждого из них нахожу нужные слова. Даже для тех, кого никогда не видел. Хотя не знаю ни одной молитвы... Я знаю, что Зло, как и Добро, как и все святое, что есть на земле, вписано изначально в человеческий опыт, в жизнь людей. Я верю в это. Но я не религиозен. И для меня все те, кто жив, кто жил и уже ушел, самоценны сами по себе. Я всех их храню в своей памяти. И с исчезновением одного из них мне становится так же одиноко, как если бы я потерял их всех...

В старой кабилской сказке говорится о том, что души умерших парят вокруг живых, подобно невидимым птицам. И если чья-то душа узнает родственную душу, ту, что понравится ей, она сядет на плечо к человеку и будет ему петь...

С уходом из жизни моей бабушки я заметил, что значит прерванное время. Она, моя бабушка, словно орошала меня своей любовью, питала мою кровь. И когда ее не стало и я оказался один в Париже, на улице, в пустоте, когда я погрузился в отчаяние и ожесточился, когда ничего уже меня не удерживало на этой земле, кроме какой-то бессмысленной ярости и злости, которой исполнилась моя жизнь, и я готов уже был совершить любое преступление, она, моя бабушка, спасла меня. Ее образ возник передо мной, ее голос шептал мне молитвы, пытаясь вселить в меня давно утраченную надежду... Какие-то фразы, которые она мне говорила в детстве, всплывали в моей памяти, звучали как заклинания в моем одиночестве. Они и сейчас иногда начинают звучать в свете утра. Словно кто-то из наших предков проникает в нас с лучом солнца и хранит нашу душу... Очищает ее, проясняет сознание, прорастает в нас, подобно диким цветам на кладбищенской земле... Смертны тела наши, но бессмертна сила духа, какую бы форму он ни обретал...

От Алжира до Франции и от Франции до Алжира я могу протянуть ствол, ветви, крону своего генеалогического древа со всеми его гнездами и птицами в них. Может быть, в корнях его и прячется наша ностальгия?

Я помню все сказки и предания, которые рассказывала мне моя бабушка. Но, взрослея, я испытывал необходимость и в познании истории моего времени. И несмотря на все мое уважение к своему сообществу, мне не хотелось бы механически смешивать мой жизненный опыт с традицией жизни моего народа (кабийской) или того общества, в котором я живу. Хотелось бы попытаться обладать полнотой всей жизни, влиться в ее целостность. Но это только мое желание. А пока я нахожусь в состоянии различения себя и других. И эту мою с ними разность я ощущаю вполне объективно. Но я предпочитаю лелеять ее, оставаться в одиночестве и отвергать всех тех, кто пытается сделать из меня или «французского француза», или «алжирского алжирца». Я вырос в мире, пересеченном и кабийской традицией, и влиянием французской культуры. И отстаиваю сегодня свое космополитическое сознание, которое свойственно иммигрантам во всем мире.

Иммиграция, как я ее вижу, – это множество отцов, матерей, братьев, сестер, и я испытываю к ним ко всем нежность, смешанную с уважением. Но если кто-то из них будет ограничивать основной принцип моего существования, мою человеческую свободу, я буду вынужден перестать уважать это сообщество...

Время покажет, что это: удача или трагедия – быть сыном иммигрантов. Хотя у меня и было многое отнято в жизни, но я так и остался им навсегда. И как ни странно, в этом своем человеческом качестве я не испытываю ничего унижительного, но наоборот, мне это кажется замечательным... Счастье – это трудное дело, но я прилежный ученик. В бедных детях меня особо трогает их неистовое желание радости, почти слепая вера в радость, фанатическое ожидание радости, сияющее в их глазах...

Писать для меня означает акт сопротивления, в котором утверждается моя идентичность: идентичность ребенка, выросшего в «периферийном Магрибе», на окраине французского города, где

жили магрибинские иммигранты... Начать писать о себе – значит пойти по дороге, которая ведет на встречу с другими...

Многие годы мой отец работал на заводе. В ритме токарного станка, на котором он обтачивал металлические детали. Работал по двенадцать часов в день, как и все остальные из его бригады... Возвращался домой опустошенным, вымотанным. Утром снова шел работать. Однажды вход на завод оказался закрытым. Все были уволены... Но грохот станков еще долго звучал в его уставшей голове. И ему все казалось, что какая-то часть его осталась там, зажатая станком...

Он мало говорил, ему было тяжело дышать, он словно был придавлен грузом вечной нищеты. Но никогда отец мне не был столь близок, как теперь, когда я вспоминаю о нем... Я словно возвращаюсь к нему, наделенный новым пониманием жизни. Новым осознанием всех нас... Мы жили тогда на севере Франции, и это было время, когда еще существовал, как тогда говорили, «рабочий класс». Исполненные значения слова...

В Нантерре, где я жил, достаточно было перейти кольцевую автодорогу, чтобы оказаться в другом мире: из города, где царило знание (там находится известный французский университет. – *С. П.*), вы попадали в «транзитное» поселение иммигрантов – символ того времени... Повсюду – заброшенные пустыри, грязные неасфальтированные дороги, деревянные бараки, множество бедных мужчин, женщин, детей... Ребятишек было особенно много на «кладбищах» сломанных автомобилей, которых свозили сюда со всего города. Мы отличались своим особым «загорелым» цветом кожи, будто провели всю жизнь в тропиках... Когда мы познакомились с маоистской доктриной «Народного дела», можно сказать, что к нам пришло некое «этнологическое прозрение»: мы действительно были «зонарами», «окраинными» жителями, похожими на дикарей из джунглей... От нас исходил некий «экзотизм», и потому «леваки» той эпохи, пристально изучавшие наше существование, присматривались к нам с особым интересом...

Шел май 1968 г., время революционных замыслов, надежд на то, что люмпен-пролетариат перевернет буржуазный мир... Сейчас можно только улыбаться, видя, что сама революционная идея ока-

залась утопической и потеряла всякий смысл. Особенно после краха Советского Союза... Теперь рабочие предоставлены самим себе или заботам каких-то жалких профсоюзов... Вокруг них – идеологическая пустота, в них – тоже. И большинство задумывается, как выжить в одиночку...

Бедные иммигранты. Их положение не улучшилось в последние годы: сегодня попросту хотят очистить мир от них, чтобы и следа не осталось. Чужестранец был всегда здесь чужаком, даже если служил общему делу: так было и в эпоху Первой мировой войны, и в эпоху индустриализации, когда нужны были рабочие руки и тела, закрывавшие пулеметные амбразуры... Между прочим, неслучаен этот милый концепт «Неизвестный солдат» и памятники ему... Нельзя ничего и поделаться с лозунгом «Свобода, Равенство и Братство!»...

В Нантерре улицы носили названия цветов. Я жил в квартале Маргариток, между пустырем и бетонными многоэтажками, и надо сказать, что у здешних ребят вовсе не было «цветочного» рая. Чтобы знать это, не обязательно быть дипломированным ботаником... Дети кишели здесь, как муравьи, постоянно плодившиеся в тесных жилищах. Об этих «транзитных» поселениях 60–70-х гг. XX в. теперь никто из общественных деятелей не хочет и вспоминать... Поселения несчастных... Повсюду на земле к их судьбе царит много безразличия. Демократия идет по своему кругу, пожирая самых слабых, и сегодня еще отнюдь не исчерпана ее каннибальская суть. Справедливости никакой нет, разве что осталась некая моральная основа – жалости. На ней и покоится новый «общественный договор»: «договор» с **нищетой**...

...Но «милость» благотворительности – это чудовищное благодушие. Пожертвования отдельных лиц не искоренят нищеты, а только умножат ее, превращая ее из феномена социальной несправедливости в объект сомнительного сострадания...

Школу я посещал ровно столько, сколько хватило **времени**, чтобы научиться писать, читать и считать до тысячи. Мне этого показалось достаточным. И без того хватило жестокости учителей, зачастую проявлявших свою нескрываемую агрессивность по отношению к ученикам бедняцких школ. Хватило проявлений быто-

вого расизма со стороны французов, хватило всей этой напряженной атмосферы войны «своих» и «чужих». А ведь учиться в те времена было роскошью не только для детей иммигрантов, и родители выбивались из последних сил и возможностей, чтобы их дети посещали школы... Получили хотя бы свидетельство об окончании начальной. Но я не сдал ни одного экзамена...

Потом началась долгая дорога скитаний, где меня, как и любого подростка, поджидали и опасность, и интересные открытия. Юность – самый сложный и трудный возраст, самый непонятный для других. Взрослый человек сам словно никогда не был подростком...

Забыл, что доблестью юности всегда было безумие. В 13 лет откуда взяться мудрости, которая заменяет снисходительность у стариков?..

...Для ребенка, выросшего в гетто, первым его бунтом всегда становится преступление. Нищета, основная болезнь пролетариата, управляет всеми его поступками. Отсюда не только попрошайничество, но и воровство. Я помню, как хотел есть, – здесь многие знают, что такое голод. И я крал, и у меня были свои побуждающие мотивы для этого. Я вовсе не хочу себя оправдывать: сама реальность этого мира служит оправданием. Честность здесь – уже сама по себе роскошь. А в витринах все выставлено напоказ так, словно призывает совершить кражу... Сами обстоятельства преступлений будто взывают к ним. Отвергнутые обществом потребления, которое предполагает формулу *«быть – значит иметь»*, мальчишки и сегодня хотят «иметь», чтобы «быть». Но нормальные способы присвоения им недоступны. И воровство остается единственным способом добиться хотя бы временного, хотя бы иллюзорного «бытия». С возрастом я понял, что многие воры вовсе не против собственности. Наоборот, они ее утверждают. Для них кража – это способ овладения чем-то, и «имея» это, они таким образом по-своему интегрируются в общество, где «иметь» означает «быть».

...Преступником не рождаются. Им становятся в соответствии с обстоятельствами вашей истории. Но как только ошибка совершена, общественный кодекс обнаруживает свое истинное, а не иллюзорное лицо, и преступника ведут в тюрьму...

Я был заключен в исправительную колонию в четырнадцать лет... Там я прочел поэзию Франсуа Вийона... И в ней узнал самого себя. Это правда, что книга – лучший помощник человеческой душе... И хорошо, что в начале своего жизненного пути я встретился с великим Вийоном. Испил вместе с ним всю горечь тоски одиночества...

В глазах своих сокамерников я выглядел безумцем... Да, я много читал... Но я уже был убежден, что даже в заключении, а может быть, и именно в заключении, чтение дает странное ощущение свободы... Вийон меня научил и тому, что ни один настоящий поэт не может быть признан государством, – его, государства, «официальная культура» и есть смерть истинного искусства... И я мало-помалу, читая «Балладу повешенных», проникаясь мыслями Поэта, сочувствуя ему, идентифицировал себя с ним... Начал предпочитать воображаемое реальности. И если мои молодые сокамерники были заняты тем, что готовили побег, то я жил в заключении, чтобы понять самого себя. Хотел увидеть Свет сквозь тюремные стены... Каждый человек в недрах своей личной истории ищет для себя собственную легенду. Но если он в заключении, то его жизнь имеет смысл только тогда, когда он хочет знать Правду.

...Каждый мой проступок, совершенный в молодости, был выражением моей свободы – так мне казалось. Той свободы, которая была немислимой для моего отца. Этот воображаемый акт «свободы» хотя и был скандальным, но он меня противопоставлял (в реальном смысле этого слова) «другим» – и «примерным» французам, и «хорошим» арабам. У меня не было других возможностей для самоутверждения – и моей молодости, и моего происхождения, – как только в этом акте, в этом остром желании и жизни, и смерти одновременно. Конечно, было очевидно, что я этим самым освобождался от того груза, который давил жизнь моего отца. Который он нес всю свою жизнь. Я словно ощущал в себе всю его тяжесть. И я мстил за него. Я и до сих пор частично несу в себе этот груз. Но хотя он жжет меня изнутри, режет по живому, как острый нож, я и сейчас не испытываю той степени ненависти, или гнева, или мести, которые подтолкнули бы меня к злоупотреблению этим «ножом»...

Совершая свои хулиганские поступки и кражи, я это делал, как и многие другие магрибинские подростки, как они это делают и по сей день, будто их виновность может каким-то образом стать антиподом смирения и покорности их отцов...

Но во французском обществе рабочий-иммигрант, каким бы «невинным» он ни был, всегда находится под подозрением. И он принимает эту «маленькую смерть». Она становится частью его существования. Другая часть его – его дети, и я, как и они, словно был отброшен куда-то вдаль, вперед. Я был той частью, которая непокорна, которая жаждала мести, хотела вызывать к себе ненависть других, а не их жалость. Такого рода «виновность» исполнена попытки абсолютной самоидентификации в окружающем обществе: ведь если на тебя указывают пальцем, значит, ты – *особенный*, отличный от других...

И мое хулиганство, в сущности, было всего лишь средством защиты и возрождения неосуществившейся, нереализовавшейся силы моего отца. Семья, моя собственная семья, стала мотивом всех моих преступлений. Во имя ее я совершил их... Я воскрешал таким образом родного отца, пронзенного стрелами общества, в котором он жил. Только так, мне казалось, я мог выйти на дорогу Жизни...

Мне долго пришлось жить в мире, лишенном нормального языка, тех слов, которые формируют самосознание человека. Городская окраина научила меня аргю, где было больше ругательств... И когда я начал читать, то это было тоже актом сопротивления общественному насилию. А читать я стал подростком. И жил уже, как мог, используя порой и постыдные средства. Но реальная жизнь всегда предаёт ваши идеалы... И если кто-то выживает, то уже становится безжалостным ко всему и прежде всего – к самому себе. И если я начал писать, то потому, что каждый человек сам по себе – уже рассказ, агонизирующий рассказ, где агония имеет свой изначальный греческий смысл – борьбы. Только борьбы словом...

Осмелиться жить. Из всех сил жить, несмотря на все ее посланные тебе проклятья. Человек пытался это делать во все времена...

История молодежи из иммигрантских слоев несет в себе свое богатство, свои особенности, которые никому не удалось раскрыть.

Все попытки его определить имели мало общего с реальностью. В этом мире, вывернутом наизнанку, и слово-то для номинации этого поколения нашлось только в языке «наоборот» – на верлане, и оно закрепилось на всех уровнях, оставив нам горький привкус: «бёры». В нем как бы стыдливо зашифрованы «арабы», но сколько же можно существовать за прикрытием из антирасистских плакатов? Пора уже перестать служить просто пищей для утешения совести тех, кто разоблачает пороки своего общества. Надо помнить, что наши спасатели могут превратиться и в наших тиранов... И у современной «левой» части французского общества, как и у очарованной ориентализмом буржуазии прошлых веков, есть некий вкус к экзотизму: вот уже и успешных выходцев из среднего класса, имеющих «арабское» происхождение, называют «бёр-жуазия»...

Молодежные ассоциации 80-х гг. XX в. имели вызывающие симпатию лозунги, хотя и попахивали фольклором. А надо было серьезно разобраться в том, что такое культурные различия, в чем состоит особенность этих самых «бёров», а не стирать или благодушно замазывать реально имеющуюся *разность*. Разность культур, разность самих концептов жизни и смерти, рождения человека и его гендерных предназначений, закрепленных в традиции, в менталитете, в существовании и современного поколения магрибинцев, вышедших из иммигрантских слоев. После знаменитого «Марша бёров» 1983 г. так и не произошло ничего особенного, не возникла ни одна сколько-нибудь солидная, действенная ассоциация, которая могла бы сегодня свободно выражать свои идеи. Получилось, что «бёры» просто неспособны чего-то добиться...

Я могу судить, потому что сам «вышел» оттуда, из этих «обломков» городской периферии, а это вам не древнегреческие и не древнеримские руины... А ведь молодые из иммигрантских слоев (их было 70 000!) прошли через всю Францию, прошли с надеждой, с почти наивной верой (как и те, в 1789 г., революционным лозунгом которых вдохновлялись современные молодые люди) в то, что они смогут получить достойное образование, достойную работу, достойное жилье, смогут более активно участвовать в общественной жизни, в городском самоуправлении, добиться для **всех** иммигрантов права голоса на выборах, а не только для тех, кто родился

во Франции. Практически они требовали свою реальную интеграцию в республиканское устройство со всеми его ценностями и установками. Требовали признания себя полноправными французами, а не частью французского общества. Они верили в то, что голос их наконец-то будет услышан, что ими, их судьбой заинтересуются все. Им хотелось жить нормально, спокойно, без особых волнений, без внутренних катастроф, хотелось *слиться* с окружающим их миром. Но все это оказалось иллюзией: идеалы «Свободы, Равенства и Братства», идеалы 1789 г., засевшие в их головах, были предназначены не им. Они служили и служат другим интересам.

Молодые люди из иммиграционных слоев все более заметны в жизни общества, но не в его культуре. Их там как бы и нет. Они там невидимы. И эта их «невидимость» весьма знакова. Хотя они все чаще на первых ролях в газетных хрониках, их лица мелькают в кинофильмах, они играют в театре, они – на страницах книг, они могут быть и их авторами, так что в искусстве они не забыты тоже. Однако образ, который они формируют, влияет на общее суждение о них, а эти суждения требуют развенчания. Потому что французское общество, фетишизируя редких представителей молодых магрибинцев, добившихся удачи или популярности, не желает рассматривать процесс вхождения иммигрантов в его культуру как естественный. Оно не вливает отдельные удачи и успехи в общее русло и воспринимает их присутствие в культуре как некую «волну» или «прилив». Французское общество и изолирует их, и возносит на пьедестал, и происходит это довольно интенсивно, хотя речь идет лишь об отдельных примерах, отдельных личностях.

Как в кинофильмах с участием магрибинцев: они там есть, но их там как бы и нет. Они – сами по себе. Вот и в жизни, как в кино: молодому арабу никогда не дадут роль «возлюбленного» (героя-любownika, «премьера», как говорят в театре), ибо его персонаж – не достойный этого. Молодым арабам в культуре, как в языке, отведена особая роль: они живут в рамках верлана, куда их поместили. Хотя верлан – это только их крик о себе, преходящая необходимость, почти что условный рефлекс. Вот почему они сегодня чаще манифестируют свою жестокость. А им нужен другой язык, другое самовыражение. Не разговорное, но литературное, пись-

менное, не язык жеста, но язык знания. Именно поэтому арабский ребенок из французского предместья должен знать французский как родной. А обрекать молодежь на «верлановское» существование – значит создавать из них образ вечно мародерствующих хулиганов, которых ловит полиция, обрекать их на «прочтение» окружающего мира «наоборот».

Мы должны сражаться настоящими словами, чтобы разрушить миф, созданный о нас обществом. И настоящая трансгрессия, переход через границу своего «зонарного» существования, своего городского гетто, молодые люди осуществляют только тогда, когда овладеют языком, на котором говорит образованное общество. За это сейчас мы боремся изо всех наших сил. И настанет время, когда мир заговорит и о наших писателях, и о наших художниках, и о наших скульпторах: никто не может существовать вне культуры. Каждый человек несет в себе культурную составляющую. А нам пока отводят место только в плане способности к насилию, которое будто бы и является нашим единственным «языком». Разве можно внушать арабским детям в школе, что они не «поддаются культуре»? Будто речь идет о каких-то первобытных дикарях...

Плохо и то, что среди арабской интеллигенции, где немало людей образованных, писателей, не поддерживаются связи с молодежью из иммигрантских слоев. Они словно существуют в сторонке, избегая контактов с «подозрительной частью» населения, этнически себе родственного... Получается, что молодой араб как бы исключен из обеих частей общества, изгнан и из той, и из другой «территории». Вот почему именно моему поколению надлежит все сказать о самом себе – о том, о чем молчат другие...

Граффити, сделанные в форме «крика», запечатленные на бетонной стене многоэтажки в квартале городского иммигрантского предместья, трогают меня так же, как наскальные рисунки первобытных людей каменного века. Это тот же жест, сигнализирующий о необходимости обратить на себя внимание *другого*. Так на окраине современной жизни, на ее обочине, в ее «пограничных зонах», на городских перифериях, где расползаются свалки промышленных отходов, возникает некое новое искусство, **творчество** тех, кто в своей манере отвергает всякую элитарность, культ раритетов, также как и всем надоевший популизм.

Достаточно перейти кольцевую дорогу, как переходят границу, чтобы увидеть сидящих на металлических оградах мальчишек, которым абсолютно нечего делать, разве что курить сигареты или устраивать мелкие драки, смотреть на проходящих мимо девушек, которые изредка оглядываются назад, уже отойдя подальше. Когда металлические брусья уже просто намнут им зад, мальчишки поднимаются, чтобы пройтись, поразмяться. Потом возвращаются снова. А куда им идти? О чем мечтать? Вот уже двадцать пять лет, как образовались устойчивые поселения иммигрантов на окраинах городов, для здешней молодежи время почти застыло: это какое-то непрекращающееся настоящее, без всякого будущего. Его просто нет. Современная трагедия, разворачивающаяся здесь, запечатлена в фактах криминальной хроники на страницах газет. Если перевести на язык ощущений то, что переживается здесь людьми, то это будет похоже на апартеид...

Людей размещают на территории, которую потом называют «враждебной». Они здесь автоматически оказываются «закрыты», словно узники в тюрьме. Условия жизни этих заключенных похожи на обычные гетто. И это называют интеграцией?..

...Я не могу помешать себе думать о том, что ксенофобия, или расизм – какая-то особая, глубинная черта характера этой страны... Дело Дрейфуса предвещало уже Пэтэна и депортацию евреев, как и 8 мая 1945 г. в алжирском Сетифе<sup>4</sup>, что в немалой степени спровоцировало восстание алжирцев в ноябре 1954 г. Еврей и араб – объекты особой ненависти некоторой части французов. ...Еврей для них – это воплощение жадности, страсти к деньгам, а араб – прототип вора, убийцы, насильника...

И Франция эпохи жизни в иммиграции моего отца не изменилась по своей природе и в мое время. Разве что степень неприязни нынешних иммигрантов другая. Общество держит их на болезненной дистанции, на своей периферии, делая из них нечто похожее на тех детей, которым постоянно запрещают что-то трогать, к чему-то прикасаться. Нам на все можно только смотреть. Все происходит

---

<sup>4</sup> В этот день здесь был расстрел мирной демонстрации, главным лозунгом которой было: «Свобода Алжиру!», когда погибли тысячи алжирцев (пояснение наше. – С. П.).

так, как будто они ни на что не имеют права, ничего не могут взять, потому что им самим будто и нечего дать. И раз они – вне общества, значит, и вне внимания. Однако дети иммиграции уже впитались в асфальт городов. Они – тайный сок самих городских камней... Они добавляют Историю к географии своей жизни. И Географию к своей истории. В любом случае ясно, что в предместьях, на окраинах, в «зонах» существует реальный мир во всех своих проявлениях. У этой реальности – свой язык. Язык действия. Ружейный выстрел, несколько выстрелов, человек падает замертво, горит автомобиль, приезжает полицейская машина, все кричат... Здесь всегда что-то происходит... Правда Жизни не всегда приятная, но всегда что-то значащая... Здесь всегда и во всем виноваты арабы, особенно подростки, в любой смерти, в любом несчастном случае. Все мальчишки это знают. Но даже если установлен истинный виновник происшествия, карательная система общества будет следовать установленному ритуалу в общественном жертвоприношении...

...Да и кто они такие, эти арабские подростки, для французского общества?! Вот вам парадокс: они и чистая абстракция (на которую не стоит тратить сил и внимания), и в то же время – исключительно конкретная, жестокая реальность...

Критика общества для этой молодежи выражается прежде всего в драках. Со своими же. В некоей жестокой ссудке, схватке тела с телом. Как будто они вырывают с корнем самих себя из этой своей Истории. Используют свое тело, но думают об обществе в целом. Обо всех *других*. И если те, другие, смотрят на все это и видят только насилие и жестокость, то не замечают, как «зеркало», в которое они глядят, отбрасывает им неизбежно исток этой жестокости: то социальное зло и насилие, в которое погружены все. Иммигрантская молодежь только воспроизводит общественные пороки и противоречия, у молодежи нет «благоразумия» взрослых, и она учится на brutальном опыте жизни... Наркотики, хулиганство, проституция – все это легко и удобно приписать только им, молодым выходцам из иммигрантской среды... Но этот портрет – робот, моментальная фотография этих людей, разве не состоит из хорошо знакомых черт самого общества?

Просто их жестокость – это последний сигнал предупреждения о всеобщей опасности. Это не их диалог с обществом, но монолог, который они произносят против него... Они таким образом заявляют о своем «невидимом» обществе существовании, о своей реальности, об обычной реальности своего мира. И эта жестокость, конечно, исполнена хаосом, который близок хаосу всего мира. Его не избежать, но его нельзя и отвергнуть. Нужно нести этот груз. А какую надежду ему противопоставить?..

Насилие для молодых – как сопротивление собственной смерти. А она – часть их бытия в гетто. Таким образом, их жестокость – это их вызов, их способ противостояния бездне.

Надо думать о том, как противостоять их жестокости. Искать другую территорию, где бы они научились бороться за свое будущее другими способами – музыкой, литературой, живописью, танцами, даже если кому-то это покажется бесполезным занятием.

Завоевание Свободы – это бег на длинную дистанцию. Надо, чтобы у всех хватило дыхания.

Случаются времена, когда студенты и молодежь из иммигрантских предместий выходят на улицы. Это их общий бунт. Но бунтарство одних не равно бунту других. Способы повстанчества студентов считаются легитимными. Бунт детей окраин – незаконен. Но что они знают о законности? На что им опираться? Вокруг них – пустота...

Требования студентов вписываются в жизнь общества; требования молодежи окраин – маргинальны... Они – на полях тех страниц, на которых пишется книга общества... Дистанция, разделяющая студентов и молодежь окраин, огромна, открыта, неодолима, тревожна. Разрыв между теми, кто учится, и теми, кто просто выживает в городских предместьях, все очевиднее. Да и само студенческое сообщество игнорирует «периферию», потому что прочно вписано в общественную систему. Для нее студенческий бунт даже имеет определенную пользу – это показатель «здоровья» общества... Когда-то, действительно, со студенческими волнениями можно было связывать надежду на какие-то революционные изменения, во всяком случае, духовные... Но теперь сознание любого интеллектуала маниакально преследует только одну цель, связанную

с обретением профессии, способной обеспечить работу. Особенно в эпоху кризисную...

Молодежь с окраин, не посещающая высших учебных заведений, тоже по-своему заботится о собственном выживании. На своей территории она устроила собственный мир, где царят разбой, кражи, ложь и обман. У них своя эстетика жизни... Один парнишка мне даже сказал: «Знаешь, мы уже привыкли к наручникам... Когда их надевают, то это значит, что тебя увезут куда-то. В любом случае это лучше, чем торчать здесь...»

На мой вопрос, нравится ли кому-то из них жить в этих кварталах, мне ответили: «Нет. Здесь слишком много наркоманов. Они нам мешают делать наши дела. Ничего толком не умеют, даже дверь взломать, просто что-то украсть... Еще хуже, если найдешь кого-то из них мертвым где-нибудь в подвале...»

Понять всю нищету нашего времени означало бы принять как само собой разумеющееся, что молодые ребята могут воровать, попрошайничать, быть наркоманами, заниматься проституцией, убивать и быть убитыми в свою очередь. Конечно, честные люди не позволяют себе этого. Но порой кажется, что другие просто ставят общественный эксперимент, смотрят на насилие, творящееся в обществе, как химики на свой лабораторный опыт...

Бедность, в которой я вырос в детстве и которая казалась мне моим «частным» несчастьем, так разрослась сегодня повсюду, так разъела жизнь больших городов, что мне кажется, что отныне я живу среди руин всеобщей катастрофы. Мир здесь настолько пронизан горем и болью, жестокостью и насилием, что страдает не меньше, чем я.

Зачастую иммигрантская молодежь предместий отвергает и мир своих родителей, своих семей, которые все еще продолжают жить во Франции с ностальгией по утраченной родине. Семья больше не представляет для подростков надежного убежища, и они живут в основном на улице, она их и воспитывает со всеми вытекающими отсюда последствиями: риск и опасность подстерегают молодежь повсюду. Многих родители сами выгоняют из дома, и дети ночуют в подвалах и воруют, чтобы поесть. В некоторых семьях вообще сразу несколько поколений безработных. Поэтому

подростки сбегают из дома из-за постоянной нищеты. Бродяжничество – следствие разрыва с семьей. А порвавшие с родным лоном подростки, не имея никаких социальных опор, быстро выходят за рамки и общепринятой морали. У их старших братьев хотя и есть гражданские права, но они сами от них отказываются, воздерживаясь от голосования на выборах. Республиканские ценности не совпадают с теми, в которых они нуждаются, живя за пределами нормального общества. Государство предлагает им только временную работу, стажировки, оказывает какую-то помощь в устройстве на социальную службу, плохо оплачиваемую...

Посещая мечеть, молодые люди пытаются молиться, верить, что Аллах поможет им избежать заслуженных наказаний, скостить тюремный срок... Некоторые из них избавились от наркотиков и приобщились к исламу в надежде, что Аллах накажет всех торговцев героином... Люди часто стирают различия между исламом, исламизмом и мусульманами в целом. Но иммигрантское сообщество можно понять только через ислам, а не исламизм... Четыре миллиона французских мусульман, из которых семьсот тысяч алжирцев, вовсе не фанатики, пылающие ненавистью к остальному человечеству, или нажившиеся от продажи нефти и исповедующие экстремистские идеи. Мы знаем, откуда приходит эта зараза: это в Саудовской Аравии пекут хлеб для интегрисов. И большинство наших верующих, живущих во Французской Республике, в государстве светском, спокойно исповедуют ислам, и не стоит в каждом имаме видеть интегриса. Но не вполне нормально не собираться в мечетях, а молиться где-то на задворках или в подвалах. Поэтому поистине толерантное государство должно разрешить и эту проблему, как и проблему культуры, образования для иммигрантов. Если уж ислам существует во Франции, во Французской Республике, то надо понять, что это шанс не только для ислама, но и для Франции.

Но нельзя отрицать и тот факт, что радикальный, воинствующий ислам все больше стремится проникнуть в среду иммигрантской молодежи. С конца 80-х гг. в предместьях все больше активизируются исламисты, находя себе почву в огромной социальной неудовлетворенности молодежи, а вовсе не в поисках его истинных

религиозных идеалов. Так отверженность, маргинальность выходцев из иммигрантских слоев стала троянским конем для интегрисов, жаждущих завоевать бедняцкие предместья больших французских городов... Интегрисы любят географию распространения нищеты и несчастий... И зачастую иммигрантская молодежь, прислушиваясь к проповедям интегрисов, находит в них некоторую компенсацию своему двойному изгойству: и из родной природной культурной почвы и среды, и из французского общества... «Дети-сироты» современной демократии, они и живут в государственности, каким является Франция, и лишены в нем надежных опор, чтобы интегрироваться в него и быть принятыми в нем наравне с его «собственными» гражданами. Вот и ходят молодые иммигранты в мечеть как в некий «субститут», подобие Отчизны...

«Там, где растет опасность, растет и возможность спасения», – писал Фридрих Гёльдерлин. Там, где возможно равенство различий, обретается свобода...

Молодежь из иммигрантской среды – подтверждение того, что нам нужно освобождаться от предрассудков в отношении этносов и рас, от ловушек всякого национализма, от всех исторических ошибок, от ослепления чувством культурного превосходства.

Время, в которое живут сегодня выходцы из иммигрантских слоев, возвещает необходимость встречи культур. Каждая культура – продукт метисации, и не только потому, что всякой культуре свойственно усвоение предшествующего, внутренняя аккумуляция различных ценностей, но еще и потому, что сам культурный «жест» – само проявление культуры – всегда обращено к *другому*: в течение многих столетий люди и их дела идут на встречу друг с другом, и, встречаясь, смешиваются воедино...

Случаются события, когда мы особенно остро чувствуем и свое одиночество, и наше изгнанничество, и нашу усталость. Я словно стою на берегу реки и вижу, как ее воды уносят мое прошлое. Но я еще пытаюсь идти дорогой, предназначенной тем, кто живет по эту сторону моря, дорогой эмигрантов, скитальцев, блуждающих в поисках надежного пристанища. Но я обрету покой только тогда, когда обрету самого себя. Я не знаю, где и когда это случится. Но я

продолжаю верить, что земля – священна, что в окружающем нас мире есть смысл. Пока он от нас ускользает.

И я смотрю на этих подростков с периферии городов, которые имеют смелость отказаться от того, чтобы общество сжалилось над ними. «Смягчилось» к их судьбе. Я знаю, что их жизнь заслуживает лучшего удела. И я, как и они, испытывал когда-то головокружение от того, что стоял на краю пропасти. И я, как и они, отказываюсь и от интеграции, и от интегризма. Я требую вместе с ними l'intergrité – единства, целостности, объединения, когда человек, люди – и ни те, и ни **другие**, но все вместе сразу, едины и равны. Я смотрю на серые воды Сены, как уносят они в себе Париж. И вспоминаю свое детство. Ностальгия. Nostalgie...

### *Литература*

**Прожогина, С. В.**

2001. *От Сахары до Сены*. М.: Вост. лит-ра.

2003. *Восток на Западе: вместе и врозь*. М.: ИВ РАН.

2008. *Вошедшие в храм Свободы*. М.: Вост. лит-ра.

**Mounsi.** 1995. *Territoire d'outre-ville*. Paris: Stock.